

## ПОВЕСТЬ ВОСЬМАЯ

### РОМБИК

#### 1

И вот в один прекрасный день нам велели собрать вещмешки, а не чемоданы, прибыть на вокзал и отбыть общим вагоном — переполненным и прокуренным — в воинскую часть под Челябинском. При этом подстричься наголо — нас брали в солдаты, чтобы очень быстро сделать офицерами.

Любовь со 122-миллиметровой гаубицей образца 1938 года, которая, без нашего согласия, началась на втором курсе, оказалась затяжной и не взаимной. Эпизод, когда сразу два курса с трудом выкатили тяжело-весную красавицу из сарая в университетском дворе, издав притом непотребное восхищение ее мощностью, так и оставалось пока что эпиграфом к закону, согласно которому каждый небольшой студент должен получить офицерское звание с артиллерийской специальностью.

Почему — артиллерийской, ведали только мудрецы с каких-то облаков, даже не уральских, бери выше. Может, надеялись на наш физмат? Так в нем две тре-

ти девах, да какие-то хромые умники в очках. Никогда физмат не числился среди армейских надежд. Но и что возьмешь со всяких там историков, филологов, даже газетчиков? Ведь многие и бежали-то сюда от математик разных да физик. А тут — на тебе: баллистика, таблицы стрельб, координаты целей... Довольно ясное обнаруживалось несоответствие, чья-то там командная нерасчетливость.

И вот мы потряхивались в каких-то полувоенных вагонах, совершенно штатские переростки, наполненные вздором абсолютно не военного образца, что никак не смущало артиллерийского майора Слинько, возглавлявшего соединение балбесов.

Его сопровождал, ясное дело, старослужащий Яков Сенгур, а следом Игорь Коробкин, солдаты не из такого уж и далекого прошлого. Эти наши опытные однокурсники двигались, принимая к сведению замечания майора, а некоторые и записывая в случайную тетрадочку.

Майор был наш рожден комбатом! Причем именно что гаубичной артиллерии: ведь она бьет издалека, по рассчитанным целям, имеет свое отделение разведки, которое выдвигается вперед, чтобы координировать стрельбу. Так что если в артразведку требовался народ малорослый, то на самой позиции мог командовать любой гигант, вот как этот майор, например. Войну он прошел, демобилизовался, но его вызвали куда надо и уговорили учить штатских болванчиков в государствен-

ном университете с правом ношения формы. Это он не раз сообщал нам. Впервые — когда мы с позором выкатили гаубицу во дворе, да на том и иссякли. Потом — на всевозможных занятиях в специальных классах военной кафедры, расположенных на первом этаже нашего корпуса, по соседству с вахтерским столиком старухи Изергиль. Ну и сейчас, конечно, в шатком вагоне.

— Ведь всем было приказано! — весело воскликнул майор. — Самостоятельно! Понимаете? Самостоятельно! Подстричься наглядко! Как солдатам! А вы, курсант Виннер? Почему проигнорировали? Где и чем теперь я вас подстригу?

Боба Виннер, из самых убежденных филологов и знатоков древнерусских наречий, стоял перед ним невытяжку и шатался вместе с вагоном, едва не падая, и двоим доброхотам приходилось его придерживать, взяв с разных сторон за брючный ремень.

— Не успел! — оборонялся Боба. — Товарищ майор! Физически не успел!

— Физически! — возмущался майор, не переставая улыбаться. — Физически будет вам теперь персональная санобработка! Иначе лагерь не пустит!

— Да мы его здесь! — подмог замечательный наш матрос Яков. — Вот у меня и ножнички есть!

Он раскрыл какой-то небывалый для тех лет, явно трофейный немецкий складной ножичек — и шевелил микроскопическими ножничками, торчавшими из него.

Майор хохотал, но заметил, что такого именного приказа он отдать не может. Вот если курсант Виннер согласится, то это его дело. Но Боба брыкался, пытался вырваться даже из рук друзей, поддерживавших его за штаны, и ни на что не соглашался. Чем вызвал народный ропот:

— Все подстриглись добровольно! А этот чего выпендривается?

Похоже, наш железнодорожный состав оказался неожиданным для этой недлинной, в общем-то, дороги. Он то подолгу отстаивался, то пробегал короткую дистанцию, то опять замирал, а перед его носом летели не только поезда дальнего следования или товарняк, но и обшарпанные вагоны пригородного сообщения.

— Черт! — все улыбаясь, говорил наш майор. — Ни кому-то не нужны! Мои будущие офицеры!

Эх, понять бы еще тогда, в какую честную подзорную трубу, обращенную в грядущее, глядит наш веселый, белокурый, огромный майор Слинько!

Рано или поздно мы добрались до огромных армейских палаток, коек по пятнадцать каждая, с поднятыми, невиданно для нас, штатских молокососов, стенками: будто это какие-то дамы приподняли свои подола. Мы кинули свои мешки строго под топчаны, один Боба Виннер уложил свой аккуратный рюкзачок поверх одеяла,

за что получил уже и не майорский, а общественный вытк.

Из-за него построение задерживалось: человек триста топтались в строю, а Коробкин с Яшкой бегом, подталкивая и матеря Бобу, шарили между топчанами, дабы навести порядок.

Пока что мы были в гражданском. Однако вытянулись и присмирели, получив команду на равнение и смиренность. Мимо нас стремительно прошли два полковника и наш майор, которые будто споткнулись возле того же Бобы Виннера, хотя и стоял он во втором ряду.

— Почему не подстрижен? — спросил он, полковник, шедший первым, ни к кому не обращаясь.

— Упирается! — ответил майор.

— Жаль, что присяга еще впереди, — хищно проговорил другой полковник. — А то бы не разговаривали.

— Пока разъясняем! — ответил майор Слинько.

Потом главный полковник, образ которого во мне смылся за давностью, командным голосом пояснил, что мы прибыли на армейскую территорию, где действуют главные военные правила: приказ и его исполнение. Передвижения по лагерю только строем, занятия по расписанию, отбой и отдых — по команде.

Строем нас отправили в баню, часа три переодевали в солдатскую форму, потом построили снова.

В том же составе командиры прошли перед нами, опять споткнулись взором на Бобе, постояли мгновение, но теперь — молча. И ушли вдоль палаток с поднятыми подолами.

А ночью, точнее под утро, состоялось исполнение общественного приговора. Боба был определен в нашу палатку, спал возле стенки, и сперва группа назначенных подол палатки опять подняла. Он не проснулся. Матрос Яша вынул из кармана ножницы, а не трофейный ножик с маникюрными приспособлениями, и пощелкал ими, проверяя эффективность. Двое сели Бобе на ноги, еще двое взяли его за руки, один ласково обхватил шею.

Наш соратник даже не испугался, хотя проснулся как-то запоздало. Яша посоветовал не подавать голос, а потом стал стричь не такую уж и примечательную филологическую прическу. Боба покорно сник. Не знаю, что предполагал Яков, но долго он не возился. Срезал сверху несколько плетей, образовалось очевидное уродство, и этого оказалось достаточно. Бобу разом отпустили. Старший посоветовал: после завтрака зайдешь в баню, там достригут машинкой.

Мне, как давнему знакомому Бобы, выпала незавидная роль адвоката: если он пожалуется, все в палатке будут свидетельствовать против него.

— Ты вообще зря устроил этот конфликт, — вздохнув, посетовал я. И похлопал Бобу по плечу. — Против лома нет приема.

Он дрожал и жалко улыбался. Часто-часто кивал мне.

Надругались ли мы над ним? Это обсуждение не раз возникало потом в палатке, когда Бобы не было, или в курилке — ею служили четыре лавочки с бочкой, наполненной водой и поставленной посередине.

Все до одного оценивали историю с Бобой другими словами: если правилам подчиняются все, то почему один должен иметь привилегию?

Ведь это армия!

## 2

Кто бы и подумать мог, что совсем скоро это правило повернется против нас всех сразу. И объяснение — ведь это армия! — мы примем в штыки. Как доказательство, что один против всех — никто.

Оказалось — кто! Да еще и какой кто! Способный сломать всех! Сразу! И явился этот один будто злой дух из волшебной лампы Аладдина. Полковник, за плечом которого несгибаемым, казалось, монументом возвышался наш могучий майор, довольно буднично произнес, когда нас уже переодели в форму и опять построили у палаток:

— Вашей роте придан старшина Цыбулько! Все ваши сборы, кроме занятий и стрельб, он будет при вас. Командуйте, старшина!

И они подозрительно быстро исчезли — и полковник, и многопудовый Слинко.

Теперь мы разглядывали Цыбульку. Он прохаживался перед нами неспешно, вначале дав команду «вольно», чему-то усмехался, поглядывая на нас, потом вернулся в центр, скомандовал «равняйся!», «смирно!», что мы исполнили без ожидаемой им ретивости, и произнес довольно нагло:

— Моя задача — из интеллигентов сделать солдат. Вижу, что работы невпроворот. Будем учиться! И подчиняться! Понимаете? Подчиняться.

Долго выяснял, кто умеет петь, знает строевые песни, и оказалось, что играть на аккордеоне умеет, конечно, Джурка Скок, а певцов, да еще солдатских песен, нет, за исключением старослужащих Сенгура и Коробкина.

С трудом Цыбулько построил нас в каре, дал команду на марш, долго дирижировал нашей походкой: «Левой!», «Левой!» А как только стало хоть что-то получаться из этого марша и наш топот стал мерным, крикнул:

— Запевай!

— А чего запевать-то? — совершенно по-штатски крикнул Джурка.

Я ему подсobil:

— Марш артиллеристов!

Скок обрадованно возопил:

Артиллеристы, Сталин дал приказ!  
Артиллеристы, зовет отчизна нас!  
Из сотни тысяч батарей,  
За слезы наших матерей,  
За нашу Родину — огонь, огонь!

Боже, да кто из нашего племени не слышал или не знал эту песню, которую я во вступительном сочинении привел, шапав бессловесное благословение той спасительной литераторши! И вся эта начинающая рота знала могучий марш, да ведь — вот когда мы и осознали-то свою военную специальность — марширует тут не пехота, а сам Бог войны, артиллерия! Наш это гимн! И даже славно стала получаться эта, к тому же строевая, песня, но Цыбулько вдруг остановил нас. И произнес нечто, ввергнувшее в обалдение. Он сказал примерно так:

— Сталина из песни уберите!

— Ты что, мужик! — спросил его довольно громко Джурка Скок. — Это же песня!

А тот солдафон, приказчик от военной службы, никто перед нами, послезавтрашними офицерами, вдруг изрек:

— Я не мужик! Я член нашей партии! Изучал материалы съезда! И песня эта! — И будто в нокаут всех отправил: — Отменяется!

Все молчали. Я оглянулся по сторонам. Наши старослужащие Яков и Игорек, люди из народа, стояли, опустив пилотки к земле! Минибай переступал с ноги на ногу. А Скок — он же был на подозрении, ему и нужно молчать. Но над ротой плавал легкий ропот, этакое гудение несогласия, удивления, но никакой не протест.

— Вы же образованные люди! — атаковал нас Цыбулько. — Вы же все знаете! Ну что вам стоит! Замените «Сталин» на «Жуков» — и пошли дальше!

Отдал команды, мы застучали сапогами на месте, потом двинулись, дружно топая, и Джурка затынул после команды.

Артиллеристы, Жуков дал приказ!  
Артиллеристы, зовет отчизна нас...

Мы попробовали вторить ему, но после третьей строчки все угасло, половина умолкла. А то и больше! Строевой песни не получалось. Старшина остановил роту. Заорал.

— Сейчас полковник придет, послушает вас, а мне достанется!

— Плохо думаешь о своем полковнике, — крикнул кто-то анонимный.

— Я! Плохо! Да я вас! Да вы у меня!

И он погнал нас вперед. Мстительно выдержал паузу. Она-то его и подвела. Джурка сказал, чуть обернувшись:

— Пусть запеваает кто-то другой!

И когда команда поступила, кто-то из глубины нашего строевого квадрата заорал, не умея, видно, петь:

Артиллеристы, Сталин дал приказ!  
Артиллеристы, зовет отчизна нас!

Старшина приказал остановиться. Стоял перед нами злобный, посинелый от чужой неподчиняемости, играл желваками, выбирая слова. Но поступил, в своем положении, неглупо:

— Запевать буду я! Кто знает, подпевайте! Выучим! И не одну!

Приказал двигаться, пошел впереди, запел:

Путь далек у нас с тобою,  
Веселей, солдат, гляди!  
Вьется, вьется знамя полковое,  
Командиры впереди.

Солдаты — в путь, в путь, в путь!  
А для тебя, родная,  
Есть почта полевая.  
Прощай, труба зовет!  
Солдаты — в поход!

Каждый воин — парень бравый,  
Смотрит соколом в строю.  
Породни... роднились мы со славой,  
Славу добыли в бою.

Песня была из простых слов, запоминалась со второго раза, но вредный Цыбулька прогнал нас раза четыре под этот марш.

И тут пошел дождь. А старшина печатал шаг и пел, казалось, еще громче. Но теперь строй подпевать не желал. Штатская вольница, переодетая в солдатскую форму, еще не означала воинское подразделение. Это бесило старшину. Мы замолчали совсем. Повернувшись к нам и как бы отступая перед ротой, вразной, но все-таки движущийся, он перевел нас в ходьбу на месте и нагло крикнул:

— Пока не запоете, будем ходить!

И снова завел:

Прощай, труба зовет!  
Солдаты — в поход!

Человек пять громко возмутилось:

— Ведь дождь!

— Где сохнуть будем!

— Хватит издеваться!

Но Цыбулька шел впереди, печатал шаг по лужам и, как сломанный граммофон, пел один и тот же текст. Рота разбрызгивала воду методично, но молча. И вот кто-то сдался: запел. Не успел я шевельнуть ушами, как запела добрая половина. А еще через минуту сдалась. Лица у всех были мрачные, даже злые, но один старшина сломал сразу всех — мы промокли до нитки, зато пели то, что он велел.

Перед сном в палатках висел густой мат. Наш покоритель Цыбулька выполнил свой партийный долг и смылся, а мы растянули какую-то веревку под нашей холодной крышей и вывесили свои гимнастерки, брюки, нижние рубахи плюс кальсоны. Самыми сухими оказались портянки — вот ведь какой парадокс, они же в сапогах все-таки.

Переиграл солдатское сообщество Боба Виннер. Ведь всем приказали мешки сдать на склад, и мы послушно их отнесли, не думая о черном дне. А Боба подумал. Под простыней у него был заначен комплект: майка, трусы и носки. Никакого секрета в том не существовало, мы лишь надменно усмехались над нашим непослушным Бобой, укладываясь спать в кальсонах и рубахах, но вот настал миг — и он победил. Теперь мы укладывались под колючие суконные одеяла голышом, дрожа от холода и матюгая без разбора и старшину, и предусмотрительного Бобу.

### 3

А про полевую почту этот Цыбулька нам все-таки накаркал. И карканье это обернулось праздником. К концу следующего дня Боря Рябиков, назначенный почтальоном, куда-то сходил, а принес казенные газеты и по два письма нам с Минибаем. Варя и Валя исправно выполнили свое обещание, потому как про наши сборы говорилось давно, да и с указанием номера полевой почты. И хоть наши подруги клялись писать каждый день, всех превзошел Джурка Скок, получивший конверты как от горячо любящей жены, так и от родителей. Пять штук!

Настроение поползло вверх, а старшина вроде как отошел вбок. Но ненадолго. Он обладал каким-то тайным чудом проваливаться сквозь землю. Вот старшина есть, и — раз! — его нет. Как только мы заходили в палатку для занятий, к примеру, по тактике, он перед самой палаткой еще поторапливал отстававших и — вдруг! — исчезал. Вполне возможно, это объяснялось нашим частичным переходом из состояния рядовых во что-то будущее, с намеками на погоны со звездочка-

ми? А может, просто его рота не имела значения для последующего образования и она ненужно растворилась?

Нами занимались молодые офицеры, старлеи и даже капитаны, но майорская звездочка как бы разделяла военные сословия. В чине майора мог быть лишь посланец полковника, с самостоятельными полномочиями, уже настоящий командир, а все эти старлеи недалеко ушли от нас по своей военной тропе. И совершенно не выпендривались перед нами, изо всех сил помогая скорее научиться стрелять из орудий.

Пока мы парились в потемках теории, часто ощущая себя полными тупицами, эти ребята — все с открытыми, приятными лицами — не отчаиваясь, повторяли и повторяли, учили и учили, как пользоваться таблицами, дрессировали нас на маленьких сорокапятках или даже 76-миллиметровках щелкать затворами, забрасывать в ствол муляжи снарядов. Исполнять прицельные команды. Потом нас повезли на первую стрельбу.

По искореженному полю ползли на железных санях железные же стойки с натянутыми на них брезентовыми полотнищами, а выходило вроде парусов, и по ним требовалось хлопнуть из сорокапятки — самого легко-го придаваемого пехоте орудия.

Особенно волновался наш многопудовый майор. Казалось, он вообще только для того сюда и прибыл с нами, чтобы повторять каждому наводчику перед стрельбой.

— Стреляешь — не забудь, откинись! Голову береги! Глаза!

Сорокапятка сильно отдавала, подпрыгивала, как лягушка, хотя станины и были закреплены надежнейшим образом, прицел с резиновой прокладкой бил в наводчика, если он не отклонялся, и рассекал бровь!

Джурка Скок первым получил ранение. Тут же Генка Шидрин. Еще человека два — с исторического, кажется, отделения и психолог. Я голову отдернул. И Минибай, и моряк Яков, наш старшой, и Коробкин. Раненых перевязали, и дней по пять они ходили будто фронтовики, вызывая двойное ощущение — сочувствия и издевки.

Через неделю нас подняли до рассвета и рассадили по грузовикам. Это были мощные студебекеры, и каждый тащил за собой большое орудие. Нет, это не были 122-миллиметровые гаубицы образцы 1938 года, но и не 76-миллиметровки. Потом мы очутились на площадке перед маленьким холмиком, грузовик орудие отцепил. На том объявлялся завтрак, из-под земли, как ему и полагалось, явился Цыбулька, раздавший котелки и ложки. По уставу полагалось все это иметь при себе, в вещмешке или даже на поясе, но, учитывая наше интеллигентское происхождение, студентам средства для питания вручили из рук в руки.

Мы поели, старшина выдал лопаты и пропал. Один из старлеев ласково пояснил, что поступила команда «орудия вкопать в землю для длительной обороны». А далее снял свою гимнастерку. Оказалось, что требовалось отрыть орудийный окоп под самое дуло. С одной стороны, дело казалось ясным, с другой — трудным: уральская почва состояла из камней с мелкими почвенными вкраплениями. Мы взмокли, тут же набили мозоли и торопились, потому что торопил старлей.

Раз пять подходил наш майор, даже малость помахал лопатой, но тут же двинулся далее, потому как справа и слева от нас слышались нетихие матерки таких же, как мы, артиллеристов. Короче, совсем как в старом солдатском анекдоте, мы рыли «от забора до обеда», от орудия до, казалось нам, дна земли, и где-то уже, отобедав, наш старлей стал получать команды по левому телефону. Опять возник майор и снял ремень, которым подпоясывал гимнастерку, приказал мне стать наводчиком, Минибаю — заряжающим, остальным — по порядку номеров, и все мы, после выстрела, должны были меняться, как пояснил он, приказав старлею помогать ему.

Однако целиться в смысле этого слова не пришлось. Старлей передавал мне цифры, я вводил их в прицел, а потом приводил ствол в соответствие с ними! Дело шло непросто. Команду несколько раз переправляли. Наконец! Майор, приложивший трубку телефона к уху, ясное дело, поднял руку. И крикнул:

— Пли!

Я должен был, нажав спуск, отскочить как можно резвее! Майор прожужжал уши всем нам:

— Нажимай и отскакивай! Это не сорокапятка! Восьмидесятипятка!

Я исполнил наставление. И довольно шустро, как думал. Но меня швырнуло назад таким невидимым толчком, станины подскочили, ствол отдернулся назад смертельным отскоком, а я валялся на куче откопанной земли. И ничего не слышал!

Могучий майор поднял меня, и я видел, что он что-то говорит. А услышал голос только чуть погодя.

— Открой рот! — кричал он. — Глотай воздух! Воздух глотай!

Парни из нашей команды испуганно таращились на меня, на майора, старлея, на себя, крутили головами, глотали, как я, воздух, пока вдруг майор Слинько, получив по телефону известие, не закричал, радуясь:

— Попали, черти! Поразили цель!

И стал обнимать старлея.

Мы выстрелили еще раз пять. Но я уступил место другим, стоял подальше от прицела, от затвора, завалился с кем-то на паях тяжеленный снаряд в ствол, потом вообще торчал у станины, заколоченной в землю. На

обратном пути, когда ушные перепонки пришли в привычное состояние и нас покачивало на лавках студебекера, спросил у приятелей:

— А как же на войне-то?

Так что 122-миллиметровая гаубица так и осталась где-то в голубой дымке, пощадив, пожалуй, нас. Кто-то верхний решил, что с нас хватит и 85 миллиметров.

Как же, все думал я, ахает тогда она? И как же попасть из нее-то в цель? Да еще с закрытых позиций?

Мы так и не увидели результатов нашей стрельбы, поверив майору, что попали. Еще не раз я вспомню этого веселого дядьку, его науку тщательно окапываться, прежде чем сделать выстрел, а потом еще и шустро отскакивать, ведь чем крупнее орудие и мощнее выстрел, тем опаснее отдача. И очень даже просто может пострадать не тот, в кого стреляют — глядишь, пронесет! — а тот, кто стреляет. Полезный, между тем, вывод. На все случаи жизни.

А с Цыбулкой мы простились, не прощаясь. Когда сдали зачеты, ведомые старлеями и был назначен час отбытия, он, обладающий волшебным свойством исчезать, — сгинул. Набить ему морду обещалось превеликое множество нашего брата: кому наряд вне очереди, кому маршировка дополнительно к строевой, издевался еще и таким манером, — но пропал он бесследно. Полагаю, его даже поощряло к этому евонное начальство — от греха подальше. Мавр сделал свое дело — мавр может и вовремя сплнить.

Но как же летел наш обратный поезд! Как сказочно слетали с нас лягушачьи шкуры! Сдав гимнастерки и галифе, натянув кровные штаны да куртки, мы зримо возвращались в штатский мир, нежданно оказавшись приветливым, доброжелательным, на худой конец, равнодушным!

Офицерами, да еще артиллеристами нам не бывать, и это ясно со всей очевидностью даже для нашего прекрасновеликого майора! И эта шкура задолженности перед кем-то или перед чем-то, похоже, сползала и с него.

На сборах мы приняли присягу. Оставалось последнее: госэкзамен по военке и получение звания «младший лейтенант», прости господи!

## 4

И вот экзамен! Вроде нас поднатаскали эти доброжелательные старлеи под зорким оком майора, вроде что-то и кое-как мы представляли, могли понять, о чем речь. Но в одном билете пять вопросов — от математики, чуждой нам, тактики, которая не ясна без войны, до уставов — чистого сумасшествия! Как справиться с таким без пяти минут гуманитариям?

Настала неделя перед военкой. Гуляло лето, университет опустел, оставались только парни, а потому аудитории, где в прежнее время после занятий собирались кучи народа разных специальностей, позакрывали. Оставшиеся располагались кучно, мешали друг другу и не давали спать.

Ведь известна жизнь студенческая: читаешь-читаешь, потом головка закачается на тонкой шейке, укладываешь ее на учебник, и — брык! — цветные сны про неведомые пущи — то ли прошлого, то ли предстоящего. Поэтому, мечтая обрести тихое пристанище и, видно, демонстрируя ликом своим унылую невозможность исполнить такое желание, я столкнулся взглядом со старухой Изергиль. Она сидела за своим столиком с крючковой настольной лампой, за спиной у нее поскрипывал шкафчик с ключами, и вот тут, оказывается, я молча посмотрел на нее.

— Что с тобой, милый мальчик? — спросила она, имея, наверное, в виду мою влюбленность, протекавшую у нее на глазах. — Тебе нехорошо?

Я слабо улыбнулся ей, вызвав, видать, еще большее сочувствие. А когда взгляделся в ее лицо, такое знакомое, состоявшее из одних морщин да двух сочувственных горячих глаз светло-серого, почти выцветшего, цвета, она, поняв это как крайнюю степень моей душевной истощенности, сломалась вконец: протянула мне целую связку ключей и указала в сторону военной кафедры.

— Иди тихонько, сосни. Закройся изнутри! Туда пускать-то нельзя!

Похоже, я и правда был истощен безнадежностью, а потому и начал, как советовали. Чемоданчик с конспектами и прочей ерундой поставил на стол, а буйную головушку уронил прямо рядом.

Рано или поздно живые люди просыпаются. Пронулся и я, поначалу не признав обстановки. Было сумрачно, прохладно — а на улице крепчала уральская жара — и я один среди столов и стульев. Только тут и включил свет.

Лампы под потолком, школьная доска с мелками, на стенах чертежи с деталями орудий в разрезе. Справа — двери, дальняя, я знал, класс для занятий, а две, что поближе, — преподавательская да кабинет начальника, им у нас был настоящий генерал-майор.

Вяло я оглядел унылое пространство, потом по странному позыву подошел к закрытым дверям и дергал ручки. Понятно, они не поддавались. Тупо я таращился по сторонам, тупо открыл чемодан, раскрыл тетрадь с конспектами со сборов и тупо же уставился в стол. На столе лежала связка ключей. Я смотрел на нее, как смотрят на чуждый предмет, не имеющий отношения к делу, и тут... Тут кто-то протянул мою руку



к связке, поставил на ноги и отправил к двери, где в дни занятий передыхали наши офицеры. Перебрав ключи, я стихийно выбрал внешне подходящий, вставил в замок — он послушно щелкнул, я вошел и осмотрелся. Кондоевое, обычное конторское помещение со столами вдоль стен. Я отчего-то уверенно, будто кто-то вел меня, двинулся к ближнему, потянул на себя верхний ящик. Он легко поддался — и я увидел пачку плотных карточек. На них стояли номера билетов и ужатые до предела ответы. Цифры, слова правил, выдержки из уставов.

Я захлопнул ящик, выскочил в пространство, где сидел, закрыв, конечно, дверь. Потом, забрав шмотье, вообще вышел из этого военного подразделения.

По черной лестнице поднялся к друзьям. Они уныло бродили, переговаривались, спрашивали о чем-то друг друга. Уверенных в победе я не заметил. Потом поманил Минибая в коридор и, взяв клятву в вечном молчании, изложил ситуацию и предложил действия. Они состояли в том, что ответы временно изымаются из ящика стола, беспечно оставленного не закрытым, мы перемещаемся в изолированную аудиторию — такая была на противоположной стороне площадки того же этажа и тоже принадлежала военной кафедре, а значит, в связке ключей

висел доступ и к ней. И мы — кто мы, неизвестно! — быстро переписываем ответы. Каждому самое большее — пять шпаргалок с ответами. Операция преступна, объяснять не надо. Но спасительна. Значит, надо, чтобы в ней участвовали самые что ни на есть надеги!

Кроме нас двоих, мы, конечно, избрали старослужащих, у них с артиллерией выходило туго! Конечно, Джурка Скок, Вовка Потников и Генка Шидрин. Опасность гуляла рядышком — ведь чем больше народу, тем выше опасность предательства. Предательства? А если застукают? Начнут допрашивать с пристрастием — откуда ответы, да еще так мастерски записанные? И вся наша подпольная группа полетит не только из университета. Поэтому, к примеру, несчастного сироту Борю Рябикова мы отмели без обсуждения по трем причинам: слишком слаб и прямотушен, за товарищей голову не положит, а раз сирота — государство его не кинет.

Мы завели себя в какой-то темный угол — всех нас, избранных к преступному действию неприступной верой в стойкость.

Формулировал я:  
— Сдать желаете?  
— Странный вопрос.

— Сдать с гарантией?

Согласные кивнули.

— Требуется клятва: никогда, никому, до конца, быть может, жизни.

Компания стала напрягаться:

— Я не шучу, дело уголовное, может, даже, политическое, правда, без политики.

Все глядели на меня набычьась.

— Ну что? — тихо завершил я. — Каждый может отказать. И сейчас отойти. Дальше только для согласных.

Сенгур и Коробкин подтвердили разом, и их решимость мне была по сердцу. Через мгновение операция началась. И, честно говоря, не все даже поняли, что же произошло.

Все тем же черным ходом я завел команду в аудиторию, противоположную месту, где лежали билеты. Это было, повторю, на той же площадке. Вся трудность состояла в том, чтобы я тихо открыл эту дверь и тени соратников скрылись за нею. Скрытность перехода заключалась в том, чтобы не спугнуть старуху Изергиль, которая подремывала возле своей лампы. Там, в тишине и закрытости, спрятанные ключом с военной связки, будущие преступники приготовили умело нарезанные листки для шпаргалок. Их готовность была предельной. Остальное приходилось на меня.

Я пересек площадку, вошел в аудиторию, решительно подошел к двери, где таились ответы, открыл замок, подскочил к столу, приоткрыл его и одним хапком забрал тонкие картонки с ответами.

Как тень, я метнулся назад, закрыл одну дверь, вторую, открыл третью.

На меня тырились подельники, но только тут я понял, что единственный дельник-то — это я. Они могут ответить, будто ничего не знали, просто переписали ответы, но откуда они и как, известно лишь одному.

Запоздалая арифметика окончательного расчета не вдохновляла, но требовала решительных действий. Они состояли в скорописи, с которой мы списывали ответы. В отчаянной сосредоточенности сделать дело как можно быстрее и аккуратней.

Думаю, операция была исполнена максимум в двадцать минут. На этот срок я затаил даже дыхание. Будто нырнул на глубину, и пока не вынырну, жизни нет.

Страх оказался мощным и сильным двигателем. Вспышкой оказался конец: я снова держал в руках карточки с ответами, аккуратно сложенные одна к одной. Друзья выметнулись из аудитории, я закрыл за ними дверь, открыл другую, третью, приоткрыл стол и водрузил ответы на место. Закрывая дверь, увидел палача — и сердце рухнуло. Прямо напротив окна, ведь дело происходило на первом этаже, спиной к нему сто-

ял на улице наш гигант-майор и с кем-то громко разговаривал, жестикулируя.

Верхние силы притормозили его!

Я метнулся, закрыв двери, подскочил к старухе Изергиль, и она что-то стала расспрашивать меня, с кем-то, к тому же, и путая, я кивнул ей, отдал связку ключей, и она успела повесить их в застекленный шкафчик.

Надо ли объяснять, что в другую секунду меня там уже не было, но из сумеречной тени, которая скрыла меня надежно, я разглядел, как майор, освещенный солнцем, подошел к столику Изергиль, даже честь ей отдал, хохотнув, и взял в свою камбалью ладонь связку ключей, навсегда запечатлевшихся в моих глазах.

Конечно, страх за содеянное не отпускал до самого конца. Ведь кого-нибудь могли застукать со шпаргалками — искусство пользоваться ими было у каждого свое, а ведь даются-то шпаргалки не по одной штуке, но всей пачкой сразу. И каждый заход, пока человек не вышел, — это риск для остальных. Может, еще и поэтому я пошел первым, получил билет, вытащил из брюк искомый ответ, спокойно переписал на листок грамотные слова и цифры и похолодел, когда, не задавая никаких вопросов, даже, кажется, способствуя мне, меня подерживая, майор Слинько аккуратно поставил мне пятачку. И молча, но внимательно посмотрел мне в глаза.

Потом я не раз возвращался к этому мгновению. Но сначала страх, а потом щенячья радость удачи задвинули куда-то этот взгляд. То, что он удивился, сомнения не вызывало. То, что не хотел копаться в таких безупречных ответах, тоже казалось очевидным. А может, думаю сейчас, это была скрытая помощь нам? Стоило закрыть тот стол на ключик, и — все. Но разве, опять же, можно было предположить почти военную операцию? От каких-то там мальчишек, которых сносит с ног свой собственный выстрел?

Последовали мучительные часы. Шпаргалки переходили из кармана в карман при моем участии. С каждой передачей они теряли свое качество, некоторые цифры расплывались от пота — ведь стояла жара, ну и страх помогал.

Явился и риск: против всякого здравого смысла мы дали их Боре Рябикову.

Когда вышел последний, Игорек Коробкин, выбрались во двор, совершенно по-дурацки озираясь, приблизились к сараю, где ночевала славная 122-миллиметровая гаубица образца 1938 года, и нашли пустую и большую консервную банку из-под американской говяжьей тушенки.

Какая-то таинственная власть даже эту большую банку подкинула весьма кстати. Я вынул из обоих карманов брюк шпаргалки, сложенные пачками, и, тщательно сложив, снова их пересчитал. Цифра — ровно сорок! — странным образом тупо рифмовалась с другой цифрой, и тоже — сорок. Нас было восемь, преступивших закон, и все стран-



ным образом получили по пятерке. А пятью восемь — сорок. И билетов сорок. Ведь кто-то и где-то, хотя по иному поводу, обозначил же: сорок сороков! Но мы не могли это вспомнить. Может, из древнерусской литературы?

Я поджигал бумажки, и они сгорали в жерле банки из-под тушенки. Друзья подсобляли. Шпаргалки были невелики, а сгорали удивительно радостно! Пых — и листочка нету! Пых — и только золотые останки на дне мрачного короба. Экзекуция совершилась стремительно, без всяких эмоций. Я похлопал по горячему донышку банки, из нее выпал тепловатый прах, кремация преступления совершилась.

Мы разогнулись. Кто-то подпрыгнул. Кто-то пробежался. Но все это — сосредоточенно, без радости, без слов. Будто веселилась стайка глухонемых. И тут из-за сарая с грозным орудием выдвинулся огромный майор. Как будто тень отца Гамлета.

На губе у него висела сигарета — они тогда еще только входили в моду — вспомните, речь про 1957 год, — и свидетельствовала не столько о богатстве курящего, сколько о его связях и высоких предпочтениях. Мой-то папа по-прежнему курил дешевую «Звездочку». А майор подошел, улыбаясь, и сказал в двух интонациях сразу — весело и недоверчиво:

— Ну что! С удачей вас, товарищи офицеры!

И отвернулся к сараю со своим орудием. Он шпарил своей горячей, яростной струей на серые доски, за которыми таилось орудие, и нам вдруг показалось, что в этом заключен какой-то смутный символ.

— Да какие мы офицеры, товарищ майор, — выбрал я верную интонацию.

А помолчав, на глазах у согласных дружков, подлил елею:

— Это вам за все спасибо!

Подельники подтверждающе загудели, майор слабо улыбнулся и будто что-то выдохнул, свалил с плеч своих нашу тяготу.

— Пусть вам это никогда не пригодится! — ответил он.

А мы, опустив плечи, двинулись со двора.

## 5

По всем правилам-то требовалось вздрогнуть. То есть принять облегчающего. Но грех висел на нас так, видать, тяжело, что хотелось одного — разойтись в разные стороны, забыться и уснуть. Что и случилось. Даже группа неразлучников с коек, стоявших впритык в общаге, разбрелась по разным, выдуманым, конечно же, делам. Только мы с Минибаем не могли оттолкнуться друг от друга. Припрятав свои чемоданишки за стулом старухи Изергиль, молча двинулись к Плотинке. Ну нет, какие-то междометия и пустословные фразы мы про-

изводили, но больше молчали, тоскливо озираясь. Будто досрочно освобожденные зэки.

Плотинка еще не наполнилась жизнью, сумрак пока не опустился на деревья и кусты, вода еще не зазолотилась медью угасающего светила, и пока не упал вечерний покров, перед нами предстояла обычная набережная. Однако в сумерки ее мир оживал. Собиралась публика, говорила, совсем, впрочем, негромко, гитары и тем более переносные приемники еще не вошли в моду, молодняк, впрочем, как и люди чуть постарше, двигался в разнонаправленных течениях, образуя что-то вроде гулянья, главным образом вполне цивилизованного. Нет, вообще-то на Плотинке случалось разное — крики и драки, — но мы были непричастны к этим сварам и разумно удалялись в сторону главпочтамта, оперного театра, Дома печати и далее — к штабу военного округа. Все это составляло чудный пешеходный путь со скверами посередине, брэнчащими трамваями, немногими тогда машинами и превеликим множеством людей мужского и женского рода — прежде всего, удивительно незнакомых, но и каких-то похожих, не чужих, вполне родственных.

А на Плотинке лавочек не хватало, да и занимали их целыми компаниями. Кроме сидящих, их окружали стоящие, и чаще всего стоял хохот, но не дерзкий, не громогласный, отрицающий право других на покой, а вполне себе сдержанный, а оттого дружелюбный. Так было тогда! И лишь позже грохот гитар, а потом ручных приемников оскорбит эту публичную благодать!

Нас потихоньку отпускало. Спадала жара, уходил в прошлое преступный экзамен, завершался предпоследний курс, и через денек-другой всем предстояло разъехаться по разным местам — мне надо было топтать домой, Минибаю — остаться здесь, до Хабаровска слишком далеко, и практику нам выдали облегченную: сдай несколько публикаций и готовься к диплому. Впереди финал!

Конечно, Плотинка не выглядела никаким перекрестком, но в душах наших сидело вот такое осознание разнонаправленных, пересекающихся и сходящихся страстей.

Нам с Минибаем следовало бы рассуждать о Варе и Вале, возлюбленных, но далеких от нас планидах, но мы молчали, словно стыдились признаться если не в отступничестве, то в сомнении. В чем-то похожем на сегодняшние шпаргалки, может быть. Всем кажется, что у нас полный атас и экзамен выдержан, но нам ли не знать, какое мы дерьмо.

И вдруг свалился Герман. Тот самый безрукий узколобый знаток иностранных языков и ведь первый ангел, принявший меня на здешней земле. Может, и сейчас его кто-то послал? Он подошел, и школьники, сидевшие

рядом с нами, увидев безрукого человека, сразу освободили лавку.

— Давно я тебя не видел! — сказал он мне, кивнув и Минибаю. — С самого реквиема!

Я запоздало, но с упоением, поведал ему, как мы выдавили заднее окно в троллейбусе, возвращаясь с великого урока музыки, и он совершенно не удивился, будто обо всем знал.

— То ли еще будет! — рассмеялся, но как-то сделал это формально, словно смеяться ему было неинтересно и не за этим тут возник.

Он ведь непрерывно улыбался, этот оптимистичный Герман, улыбался он и сейчас, но как будто по чьему-то заказу. Сказал неожиданно, обращаясь не ко мне, а к Минибаю.

— Вам придется ехать далеко, — потом перевел взгляд на меня, — а ты вернешься домой.

— Герман, ты цыган? — спросил я смешливо, но он не обратил внимания на мой сарказм.

— И все у вас получится, как вы захотите. Только надо захотеть.

— А сейчас? — спросил Минибай, смеясь.

— Сейчас вы еще не хотите как следует, — ответил Герман. — Хотение у вас пока поверхностное. Не конкретное, понимаете?

Мы не понимали и пошлялись втроем. Он спросил:

— А вы помните Бова Помяновского? Он же преподавал вам! Искусствовед! Произнес на Моцарте вступительное слово!

Конечно, мы помнили его, но давно не встречали, откровенно говоря.

— Его избрали в Академию художеств! Он издал монографию про каслинское литье. Вы знаете? — Мы знали. — Так вот, он болен. А какой блестящий человек! — И прибавил: — Никто не становится исключением из правил.

— Каких? — удивился я, но Герман махнул рукой:

— Пока не для вас!

И рассказал, наконец, о себе. Он уже дважды женился. Разумеется, на выпускниках инъяза, как он. Оба раза развелся. И, слава богу, дело обошлось без детей.

— У меня не получают дети! — погрузился он, но тут же засиял своей непроходящей улыбкой. — Понимаете! Вот рук нет — это инвалидность! Всем заметная. А вот детей нет — за что? Вы можете объяснить?

Он удивительно засмеялся. Будто зарыдал. На него стали глядеть прохожие. Тогда он захохотал. Не протаясь, вскочил с лавки, и не обернувшись, не сказав больше ни слова, побежал по асфальту куда-то в сторону театра.

Больше я не видел этого несчастного Германа с вечной улыбкой. Зачем тогда она была нужна ему?

Не то чтобы расстроенные, но удивленные странным явлением Германа, мы поднялись и медленно, гуляя в этой неспешной колонне, двинулись к центру, мимо «Совкино» и оперетты, потом перешли в сквер и сразу наткнулись на Толика Пудолья. Он был пьян. И тоже одинок, как Герман. Тихий, улыбочивый, скромнейший из скромных, автор книг, изданных еще в студенчестве. Пудоль не походил на себя.

— Ребята! — вскричал он нам. — Ребята! Куда вы пропали? Где вы? Почему?

Но он не ждал ответа, и нам не пришлось объяснять, что жили месяц в военных лагерях. Вопрос Толи носил безответный характер, ему было все равно, где мы были, потому что ему требовалось что-то другое.

— Ребята! — говорил он, заплетаясь речью. — Мне надо выпить! Я угощаю! Пойдемте!

Он с трудом держался на ногах, да и по той, первой выпивке мы знали, что Толик слаб по этой части, и взяли его под руки с двух сторон — он жил в паре кварталов от городского бродвея. И я, и Минибай несли всякую чушь, но гений журналистики и литературы, наш несомненный эталон, хоть и пьяным голосом, но стал излагать вполне трезвую печаль.

— Мне плохо, ребята! Михмих! Я не могу без него! Погубили фронтовика! Поэта! Патриота! «Эх, рябина кудрявая!» Народ тащится! Ну, полюбил человек женщину. За что партбилет! Позор! Освобождение! И он не выдержал! А я! А мы!

Пудоль сообщил то, от чего мы оказались вдали, но что на все лады обсуждал город. Милейший Михаил Михайлович, редактор молодежки, покончил с собой от того, что влюбился, будучи женат. И его стали драить!

Да, да, тот самый Михмих, легенда газеты, которая нас приветила, излучая доброжелательство, получив за Джурку выговор — сколько шума было по этому случаю. И даже синяки на Джуркиной физи! И вот Михмиха нет! Даже, говорят, некролог напечатать не дали! Ну да, мы знали это, говорили в аудиториях после занятий, но смерть человека, которого почитали, скользнула вдали, как легкий шум поезда, пробежавшего вдалеке. Шум этот нас известил, но ничего не объяснил.

Каким-то странным способом образ пьяного Толи Пудолья поместился в один ряд с украденными пятерками по артиллерии, безруким Германом, который явился, смеясь, в вечернем полумраке и в нем же исчез, рыдая.

Нашего гения мы не только довели до дома — он снимал крохотную комнатку в деревянной избушке, правда, с отдельным входом, — но и раздели его и уложили на узенькую, солдатскую кровать: спи, дорогой

страдалец. Он сразу захрапел. А мы продолжили путь, оказавшийся долгим, полным странных знаков.

Возле магазина, где продавали велосипеды, иногда — мотоциклы, а больше всего какие-то железки, в круге света, созданного небольшим прожектором, светящим со второго этажа, сиял легковой автомобиль и толпился народ.

Когда мы приблизились и поинтересовались, нам как непросвещенным, перебивая друг друга, возбужденные мужики разного возраста стали объяснять, что в круге света стоит «Победа», а в магазине можно записаться в очередь на покупку.

— Почем же штука? — сострил Минибай.

И нас просветили, что цена штуки шестнадцать тысяч, а народ толпится здесь, чтобы разглядеть авто подетальнее — в конторах-то всяких, у начальства, она имеется, но гражданам до сих пор не полагалась. Вот и хочется увидеть первого покупателя.

— Увидели?

— Нет, но это народный артист из оперы! Заслуженный человек.

— А очередь-то есть? — пытали мы.

— Какая очередь, парень! У кого такие деньжищи? У солистов! У академиков! Их же сразу заплатить надо! В кассу — и все!

Мы пофыркали, обошли толпу, и ничто нас не задело, не царапнуло — одно разве уважение к большим артистам и ученым. Они-то заслужили! Да и заработали! А нам? Мы быстро посчитали: если по 200 рэ в месяц, всю нашу стипендию, собирать — понадобится восемьдесят месяцев, почти семь лет, ха-ха! Да ведь и народ-то у магазина, хоть и разные там люди торчали, ни на что не посягал. Даже не мечтал. Только любопытствовал. А уж студентам-то — куда? Какие там машины!

Перед самой общагой, на углу, под уличным фонарем со ржавой шляпкой, возле деревянного домика с садиком за забором, нас ждал еще один сюрприз. Да и какой! Под фонарем стояли два солидных человека и, кажется, слегка покачивались. Мы изготовились их обогнуть, как один воскликнул — и не просто знакомым, но очень уважаемым голосом:

— О! А вот и наши мальчики!

Это оказался голос Бориса Самуиловича, с которым бодро и тоже знакомо перекликнулся Бова, о котором только что говорил нам Герман на Плотинке:

— Пока — мальчики! Скоро — мужи!

Мы остановились, здороваясь, а наш завкафедрой пояснил необходимое:

— Вот были в музее Бажова. У дочери покойного Павла Петровича. Она нас приняла.

— Бывали тут? — уверенный, что ответим положительно, спросил наш искусствовед.

Проще всего было соврать, мол, естественно, тем более до обожжения — сто метров, но я рискнул изложить свой довод.

— Боюсь, — ответил я, — потерять хозяйку Медной горы. Ей ведь место не в музее, а в голове, лучше — в душе.

Минибай согласно кивнул.

— Вот те на! — воскликнул искусствовед. — Смотрите-ка, наши мальчики-то — взрослые мыслители.

— В музее, мы уверены, интересно, — поддержал меня Минибай, но напрасно избранный комсоргом, — но писатель и его герои... — он чуть задумался, — бывают так не похожи!

— Вы правы и неправы, — доброжелательно проговорил Борис Самуилович. — В музее — знание, в сердце — чувства. Они не противоречат друг другу.

— А что, — спросил я его, указывая на скромную памятную доску, висевшую на доме, — будет теперь?

Так расплывчато я высказался специально, не договаривая и подразумевая надпись, но оба поняли без слов.

— Про Сталинскую премию? — ответил Бэвэ. — А вы не знаете? Ее переименовали в Государственную. Теперь меняют наградные знаки.

Мы с Минибаем как-то враз поперхнулись.

— И меняют? — нарывался я.

— Меняют! — во все том же атакующем стиле ответил Бэвэ. — Еще как!

— А Бажов? — подъелдыкнул я. — Ведь он уже не сможет.

— Ему без него поменяют, — ответил искусствовед. — А ты бы, Борис, поменял? — оборотился он к сотоварищу.

Тот хмыкнул, довольно строго помолчал, а потом ответил очень даже всерьез.

— Задним числом время и события изменить еще никому не удавалось.

Такое высказывание не было легко усвояемым материалом. Но нам ведь его и не требовалось усваивать. Мы сами были этим материалом.

А он, между тем, сказал вещие слова. Кто и как может развернуть время вспять? Если даже включить все радиостанции и все печатные машины? А Бажов за свои сказки, а не сказки, получил Сталинскую-то премию прямо во время войны. Она была выше всех наград! Значит, кто-то понимал и принимал его работу!

Как же все это выясненное в конце дня, под уличным фонарем, не совпадало с нашим утренним шулерством! И до чего же совместны могут быть человеческие низины и высоты...

Окончательно повзрослев, немало повидав, попив и поедав, я мысленно сравниваю тот долгий день с восточным шампуром, на который нанизаны и кусочек

сердца, и горький перец, и плотская мякоть бесстрастного филе, и умолкнувший, но шершавый язык.

Прожаренное на углях житейских событий, пережеванное острыми молодыми зубами, проглоченное в жадное чрево предстоящего, эта шашлычная разнородность одну лишь истину утверждала: все съедобно, все перевариваемо и все впоследствии извергаемо во вне ради того, чтобы снова кому-то страдать, лукавить и биться за правду. Судить и быть судиму.

Не это ли смешение и есть содержание духовного сосуда, на котором изречено: нет правды на земле, но нет ее и выше?

Но такие обобщения приходят позже, годы спустя, сквозь испытания и опыт. А тогда, пару раз обернувшись на двух мужчин, по-прежнему стоящих под фонарем, мы похмыкали, поохали, повздыхали, добрались до комнаты, где свет уже был потушен, и бухнулись в сонные глубины.

## 7

Кто-то из них, точно не помню, но по логике — Бова, наш знатный Помяновский, как нескрываемый прагматик, сказал тогда у фонаря:

— Ну вот вы и вышли на финишную прямую. Пятикурсники! Пора выбирать место действия! Время вам выбрано и без вас!

Да уж, место действия, кто, куда и зачем двинет после этих стен, не давало покоя никому, только говорить о таком принято не было — боялись сглаза. К тому же существовало распределение. Мы считались кадрами партии, ведь все газеты принадлежали ей, до самой последней районки. Даже заводские многотиражки не составляли исключения. Так что некоторый припуг имел место, а шел он все от того же доброжелательного завкафедрой Бориса Самуиловича.

Не раз и не два он говаривал на лекциях своих, в коридорах, на собраниях: позаботьтесь, мол, сами о своем распределении. Если вас могут взять редакции, где вы прошли практику, пусть посылают официальные запросы. Опытные вели себя опытнее, Яша-моряк давно показывал вызов от газеты Тихоокеанского флота и первым сдал на кафедру сию почтенную бумагу. В первые дни осени получит такую же гарантию Минибай из Хабаровска. Скок, как женатый, оставался при жене по месту ее учебы, но и его пригласило на работу наше первое гнездышко при содействии Толи Пудоля. Целый окоп вырыла себе Муза Воробьева, хотя член-корреспондент и умный развратник съехал из места ссылки в Первопрестольную. В общем, шевеленье происходило самое энергичное, а я не торопился. Впрочем, этому же предшествовала моя каникулярная поездка домой, новая встреча с милейшим Леонидом Демидовичем, его

толстый палец, мое покорство и просьба не столько послать бумажку в университет, сколько дать поработать.

И мне дали! Отдел информации, состоявший из двух человек, резко возразившись, что появился практикант, да еще пятикурсник, заведующий рванул в отпуск, а его единственная подчиненная отправилась на длительный больничный, хотя ее голос то и дело слышался в буфете.

А я был рад! От меня требовалось раз в неделю сварганить информационную страницу и каждый день сдавать в секретариат разнообразные заметки соборов, присланные из районов, и прочие любопытинки, что я и делал, загружая машбюро информационной мелочью.

Меня все уже знали, особенно в машбюро, были уверены, что я приеду именно сюда, приветливый мальчик с настоящим высшим образованием. Таких здесь водилось негусто, зато все образования заменял многолетний опыт. Впрочем, эти познания газетного бытия, уже не новые, но все-таки лишь только слагались в нечто важное, и я жил половинчатой жизнью — еще студент, но уже на казенном коште — мне положили на месяц полноценную зарплату. Те недели слились в странное сочетание — я радовался дому, маме и отцу, от которых уехал в неведомое столько лет назад и был уже слегка самостоятельным: свои заработки я небрежно выкладывал на мамин комод, вызывая этим искреннее восхищение.

Родители читали газеты, выписывая их, но ничего не знали про газетное дело, и я по вечерам — иногда, но все же, — по порядку рассказывал им, как на самом-то деле делается этот шуршащий газетный лист, какие следуют перед ним труды, а главное, могут быть последствия. Мне казалось, они поглядывали на меня недоверчиво, волновались, как получится моя самостоятельная жизнь, но беспокойство отступило перед бесконечной шаловливостью моего младшего брата, с которым меня разделяло целых четырнадцать лет! Я с какой-то неясной радостью ощущал себя отрезанным ломтем. Почти отрезанным. Вот захоти я сей же момент написать письмо Хлебникову и Косте Немухину, как мне вышлют вызов, подъемные, и я окажусь на краю света, может, даже, на всю жизнь, и уж там-то меня не оставят без присмотра. Но порядочность звала вернуться домой — и что?

Выползали вопросы, лишенные самой элементарной уверенности: где мне жить? У родителей? А дальше? Кто я вообще-то таков? Ну, сейчас легкий на подъем студентинка с приготовленной работой. А дальше? Вся жизнь с родителями, при них, возле них — все ли это, что требуется молодому парню любых качеств? Я отмахивался от взрослости, лето кончилось, мы вернулись

к учению, и вот тут я как-то неосознанно взгляделся в Джурку Скока.

Он сидел рядом со своей женушкой Аленой Грачевой, женатый, прописанный у нее дома, которым правили очень солидные и взрослые люди с твердыми укладами, главный среди которых наш почтенный профессор.

Алена была не то чтобы избалованной, но освобожденной, что ли. Она не думала о еде, об одежде, о деньгах — за ней ходили, ее холили, кормили, хвалили, да так, что она кинулась на шею Джурке, и оба они повисли на шеях Аленкиных родителей. Конечно, нас мало занимали такие мысли, к тому же я знал, Скок получает от родителей солидные переводы и обладает, таким макаром, независимостью.

Похоже, это был если не другой вагон, то другая вагонная полка. Она не вызывала интереса, но имела место. Я просто глядел, как они воркуют, как Грачева, сменившая фамилию, стала самоуверенней, энергичней, даже слегка нахальней. Чего-то она добилась. А Джурка? Тот тоже сиял своим крупным масляным ликом, был дружелюбен, но — внешне. Нас теперь не касалась его

частная жизнь, да кто бы об этом и спорил? Но не могли не рождаться соображения и о собственной жизни.

Девуцы разных пород и курсов, бывало, и причаливали к нам у подоконников и в свободных аудиториях, но никто из них не мог сравниться с нашими полуисчезнувшими подругами. Да и непросвещенное отродье женского рода тут же откуда-то узнавало, что мы с Минибаем, вообще-то, люди занятые. Можно сказать, полуженатые. Но как всякий домисел или сплетня, сведения эти сильно хромали.

Сначала мы просто жили частой перепиской. На военных сборах конверты приходили каждый день, остальные каникулы, как ни удивительно, притормозили частоту, к осени, с возвращением к учебе, дело возродилось, но стало страдать повторяемостью фраз и выражений. То друг мой, то я забывали вовремя ответить на послание и ужасались.

Странное свойство человека: чем громче он ужасается, тем меньше верит в свой ужас.

Окончание следует.

